

Он вышел из комнаты под видом покурить — там заседала межрегиональная депутатская группа, а ему не хотелось никого смущать. Ему было уже очень больно, и он лег на пол, успев попросить девушку-секретаря поднести газеты. Его везли в Склифосовского, в реанимацию, без сознания. Если бы там, на его счастье, не оказалось заграничного лекарства, он бы уже был мертв.

С тобой произошла такая страшная история — ты практически умер и воскрес... Какой это след за тебе оставило? Что дал этот новый опыт?

— Ну, дело довольно простое. Был инфаркт. Чуть-чуть выходили. А дальше я решил преодолеть этот инфаркт, так сказать, идеологическими средствами. Как всегда мы делаем. То есть проявить волю, характер, осуществить впечатление «партии» — у меня ведь своя внутренняя «партия». Наверное, моя модель за последний год — это модель нашего общества, нашей экономики. Я был уверен, что самовнушением обуздаю организм. Прилетел в Кельн по приглашению замечательного человека, депутата бундестага, социал-демократа Вайскирхена, выступил на конференции, почувствовал себя плохо, сделали коронарографию, оказалось, не один инфаркт, а три, нужна операция, и никакая идеология не поможет.

— Природные законы оказались сильнее...

— Сердце — насос, а не идеологическая конструкция, и оказалось, что лечить его надо технологически. Перебью себя вся наша «мудрость» состояла в том, что технологию жизни, даже психологию, даже физиологию жизни, выживания, развития общества — мы заменили идеологией. Неправильно поставлен диагноз: у нас не один инфаркт, а много, на фоне общего рака, во всяком случае экологического. Это во-первых. И во-вторых, лечить нас нужно технологически. Ни «капитализм», ни «социализм» — при чем тут это?

— Я хочу вернуться к проблеме смерти. Мы в нашем обществе как бы исключили ее из сознания. Исключили из литературы, искусства. Скажем, отменили жанр трагедии. Всем было предписано быть настолько счастливыми, или обобщественными, что смерть, как и Бога, вычеркнули из жизни...

— Замечательно сказано у Коржакина: даже смерть отнес к проявлениям старого мира... Отдать жизнь за родину — это моему поколению было понятно. Но это как-то не равнялось смерти. Да, смерти не было. Господствовало убийство, а смерти не было. И это одно из главных преступлений. Потому и не было жизни. Это связано. У меня в книге «Достоевский и канун XXI века» лейтмотивом проходит — и даже глава так названа — «Встреча со смертью». Переживается, обдумывается встреча Достоевского со смертью, без чего, по моему, необъяснимо его творчество. Без этого вообще многие, вернее, главные вехи непознаваемы, непостижимы. Тут очень боишься простоты — а ее не надо бояться, это не простота, а элементарность — не элементарность: без встречи со смертью не может быть ничего, нравственности быть не может. Я так долго думал об этом, что как будто накликал, а накликав, предупредившись к этому. Действительно, было чувство, что я готов. Странная вещь: вот мне сейчас шестьдесят, а я все это уже знал, потому что умирал в девять лет. У меня был дифтерит, я был безнадёжен. В палате нас лежало четверо, и трое умерли, я их все помню, как вчера. А я три раза умирал. Там есть такой приступ, когда задышаешься, и все. Когда я потом прочитал «Жизнь после жизни», и у Толстого, как улетает душа в какой-то тоннель, это я точно знаю, я соназывал и видел: она улетает, а ты остаешься и видишь себя, тело свое видишь. В девять и в шестидесят разницы в этом отношении никакой. Я помню, я тогда слышал: мама, я умираю, а ты куда?.. А в этот раз было чувство жуткой досады, что не успел доделать то, что, наверно, не мне одному нужно.

— Твоя жена говорила мне, что здесь, в больнице, и там,

в клинике, в Кельне, ты наговорил тридцать часов пленок. Одну из них, на третий день после операции, когда ты думал, что снова умираешь, она начала слушать и не могла — так страшно...

— Я был опутан проводами, проводочками, как муха в паутине, боль дикая, пульс 180, и не думаешь о смерти, а выдернуть все из какой-то колбы, чтобы прекратить это непереносимое состояние... а диктофон не выключил...

— Что ты почувствовал, когда вернулся «с того света»?

— Как хорошо у вас на этом свете!.. Все то же, что отчеканил Достоевский после отмены казни 22 декабря 1849-го: «Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья».

— Мне хотелось попросить тебя поделиться хотя бы частью «последних» твоих мыслей... о себе, о поколении...

— Очень трудно... У меня есть любимый образ сжатой пружины: скрутить мысль так, чтобы было как цилиндр, кто-то снимет упор, пружина выстрелит. Так вот, в дни, о которых ты говоришь, я вдруг начал исписывать сперва блокноты, потом наговаривать

пленки. Было дикое чувство недоделанного и дикий, почти животный расчет додумать, доделать... Ты назвала — поколение. Смею сказать, что поколение это абсолютно уникально не только в истории Страны Советов, не только в истории России, но и в истории человечества. Это не гордыня. Это ужас и магнит ответственности. Сама подумай: никогда не было, разве только у ранних христиан и у французских революционеров, таких чистых и таких надежных, как у нашего поколения. Определюсь: я 30-го года. Плюсминус 10 лет — считано, наше поколение, поскольку время спрессовало, сжало нас. Люди, которые раньше казались мне недостижимыми вперед, или люди недостижимые назад оказались в одном со мной поколении. Смешно, Володя Высоцкий, на восемь лет меня младше...

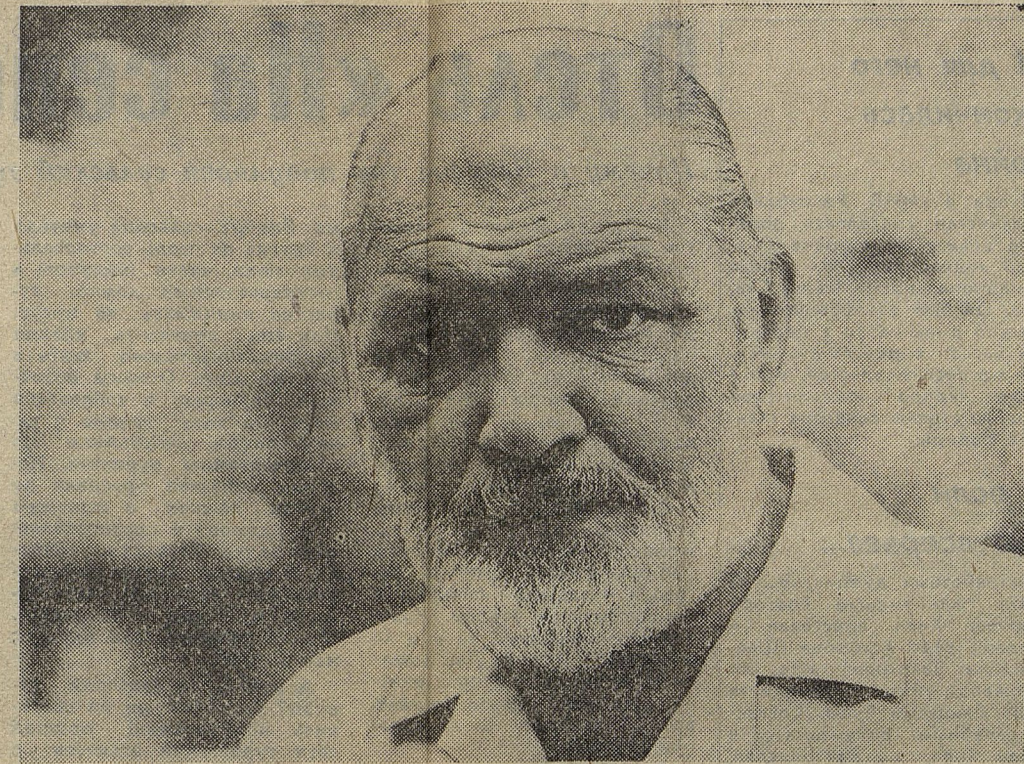
— Ты чувствовал какое-то превосходство?..

— Это произошло, когда он умер?

— Нет, раньше, может быть, неосознанно. Я узнал его в 64-м, когда ему было 26, а мне 34. Я уже поработал в Праге, в «Проблемах мира и социализма», идеолог, политик. А он пел... Он был для меня воплощением возможного, невозможного. У него было родное им всем, и Малдыштаму, и Пастернаку, чувство: идет охота на волков. Выла трава, была охота. Но — «я из повиновения вышел». Он первый выскочил из этого, почувствовал восторг свободы. «И остались ни с чем етеры», понимаешь? И мы, старшие, с каким-то недоверием: приспосаблился, что ли? А он не боится, он идет. Он строит, а он идет, один, по канату и охочет при этом! Он был осуществленной дерзостью. Не политической, черт с ней, — человеческой...

— Эта жуткая плата — вода, наркотики... это именно плата за прорыв к абсолютной свободе в условиях абсолютной несвободы...

— Безусловно, это сверхнагрузки. Был Володя Высоцкий, был Толя Яковлев. Тоже младший учитель. Так случилось, что он жил в доме, где я поселился в 60-х. Почти каждый день он приходил ко мне: можно, Юрий Федорович, я вам почитаю? Сначала Юрий Федорович, потом Юра, при разнице в пять лет. И читал всю мировую поэзию. Это очень любил Самойлов, он был любимец Лидии Корнеевны Чуковской. Безумно талантливый человек. «Чарственное слово» — его эссе об Ахматовой. О Блоке — художественное исследование искусства. Друг Юлика Даниэля. Вот его «объек-



Юрий КАРЯКИН: «Как хорошо у вас на этом свете!»

ПОСЛЕ СМЕРТИ

ХАРАКТЕРЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

тивка». У них свои «объективности», у нас свои. Он уехал за границу и повесился... Еще Юлик Ким, слава Богу, есть...

— Сравнение поколения с ранними христианами — по степени напряженности мироощущения, по перевороту?

— И то, и то. Только у христиан растянуто. А тут — на одном пятачке. Это первое. Второе — никуда не денешься: одна из самых страшных в истории человечества войн, она же нас проутюжила всех, и тех, кто участвовал, и кто не участвовал. И, наконец, третье: на жизни одного поколения — полный пересмотр всего. Вот цифры — смотри, в них судьба. В 37-м мне сколько? Семь. Что я помню? Я только помню музыку 37-го года. Эта музыка состоит из двух мотивов: радость жизни, мама, бесплатный морс во время выборов в буфете, праздник и — какая-то жуть, какой-то страх. Шепчущая, происходит что-то непонятное, исчезают люди. Я в провинции жил, в Пермь, все на виду. Туда нельзя, у тех дядю уехали. Шу-шу-шу по двору — взяли у Кайгородовых, старый большевик, вдруг исчез. Опять радость — пионерлагерь, а старший вожатый — исчез: враг народа — шепотом. В 41-м мне одиннадцать, игра «бейм на фронт». А в 56-м мне уже 26, я женат, не хватает денег, и вдруг: вся страна — концлагерь, и ты жил не так. Ничего себе! В 56-м вазовские: еще чуть-чуть, вот Бухарина реабилитируем, и засияет солнце справедливости. Дальше 29-го самые смелые заглядывали, остальные пробавлялись 37-м, ну еще 34-м. Ни о какой экономике, о правде не было и речи. Там были иллюзии — рухнули, потом опять иллюзии — рухнули. Счастье было, что мы выжили в драку, четверо в философской аспирантуре МГУ, Плимак, Пантин, Филиппов, я, пошли против своих научных руководителей, оказавшихся доносчиками, стукачами, фальсификаторами. Я убежден, из человека ничего не выйдет, если он в юности, в отрочестве не пойдет один против всех. Это не рациональное управление, а именно безразудный порыв. Если мешается расчет, он убьет. Без этого может не получиться судьбы. И обязательно так, в юности. По той дооткладываемости. Это глупо, отчаянно, бессмысленно, а после оказывается, это росток, из которого все вырастает. Я помню одного, умницу, многие уступали ему по способностям, он должен был быть пятым, он сказал: ребята, вы правы, но у меня жена и дети, я не могу. Классическая фраза. Мы даже зауважали его за прямоту, не обсуждали, не корили, а тихо растерялись. Он сделал фантастическую карьеру — сейчас правда, потерялся. И что? Ничего. Лет двенадцать назад мы встретились, от него чуть-чуть зависело то, что было в

наших с Элемом Климовым планах, — фильм «Бесы»...

— И он не дал...

— Не просто не дал — сподличал...

— Это все написано у Зиновьева в «Визюющих высотах». Модель одна и та же: система души вас не руками кистей, а руками ваших же коллег, завистников, с внутренним червем, они не хотят, чтобы кто-то высовывался... Как же развилось личное противостояние?

— У нас все сплелось во лжи. Когда ты умнеешь, ты не забываешь об лжи, а умнее лжешь. Даже вроде мудрость: ну не буйешь же ты выступать, когда и так все ясно. Такой «общественный договор» между всеми. А раз он есть, ложь не будет уменьшаться, а будет только видоизменяться. Стало быть, увеличиваться. И ты уже тонешь в ней. Ты пропал. Не знаю, в чем дело, но для моего поколения сама важная была легенда о дед. Дед — сибиряк, Георгиевский кавалер, кутила, работник, вот я закрываю глаза и вижу его, почему-то в кавказской бурке, хотя чистый белорус. Там деревни не такие, как в России, а шлях, а вдоль дома и заборы, и вот все припало к глазкам калиток, струсили, провозжал взглядом своих коней, которых уволит Васяка-конюхлад, царь и бог, а дед встал поперек шляху с раскинутыми руками, как большая птица, и ка-ну еще 34-м. Ни о какой экономике, о правде не было и речи. Там были иллюзии — рухнули, потом опять иллюзии — рухнули. Счастье было, что мы выжили в драку, четверо в философской аспирантуре МГУ, Плимак, Пантин, Филиппов, я, пошли против своих научных руководителей, оказавшихся доносчиками, стукачами, фальсификаторами. Я убежден, из человека ничего не выйдет, если он в юности, в отрочестве не пойдет один против всех. Это не рациональное управление, а именно безразудный порыв. Если мешается расчет, он убьет. Без этого может не получиться судьбы. И обязательно так, в юности. По той дооткладываемости. Это глупо, отчаянно, бессмысленно, а после оказывается, это росток, из которого все вырастает. Я помню одного, умницу, многие уступали ему по способностям, он должен был быть пятым, он сказал: ребята, вы правы, но у меня жена и дети, я не могу. Классическая фраза. Мы даже зауважали его за прямоту, не обсуждали, не корили, а тихо растерялись. Он сделал фантастическую карьеру — сейчас правда, потерялся. И что? Ничего. Лет двенадцать назад мы встретились, от него чуть-чуть зависело то, что было в

мои слова, но я с ними согласен, на партконференции рабочие говорили обо всех вас, что вы с такой же энергией лижете... Брежнев, как раньше Хрущеву. Я еще грубее процировал. И в этот момент понял, что сохранился. Сейчас вспоминаю лица — финал «Ревизора»! Я же был для них свой — мой последний список: ЦК, Прага, «Правда», и тут на тебе! И вдруг эта женщина покрывалась пятнами: товарищи, а всегда с партий, всегда с партий... Я, человек абсолютно не истеричного склада, начинаю хотеть. Очень хорошо помню это состояние радости. Я подошел к окну и думаю: почему они меня не «выкидывают» в окошко? И мысль: трусы, трусы, не те уже, не те. Вышел, веселый, с формулировкой «за беспричинное грубое поведение на горке» и за идею неверное выступление на вечере памяти Платонова». Идет за мной Крестьянинов, председатель комиссии партконтроля московского, и говорит: ну что же ты... матерок, всех нас подвел, не мог на колени перед партией, ведь все договорено было, матерок, а ты, как же ты не понимаешь, ведь за ширмой Гришин сидел. Тут я опять начал хотеть: Гришин у них за ширмой! Было мне весело, как никогда. Ты вошел в машину, прекрасно знаешь, когда прольешь кинжалою зимой мотор, и оттуда пф, пф. Мне казалось, что уже моя натура — считаться с этой ложью — и вдруг пф, пф. И оказалось, не пришло, даже не наелся. Я помню это счастливое чувство. Оно непонятно людям, за нами следуют, и это радует. Тот же Юра Бондырев, Сулакшин, майор наш Лопатин, Третьяков из «Московских новостей» — уже другие, у них не было этого жвильения страха.

— Ты говоришь о тех, кто за тобой. Поговорим о тех, кто перед тобой...

— Одно необходимое пояснение. Можно сравнивать себя «вверх» и «вниз». Всегда можно найти людей хуже себя и удовлетвориться этим. Это путь самобытийственный. Отвратительный, гордынно-глупый, помню прочего. Мне кажется высоким, и негордынным, и не унижающим путь сравнения себя с людьми, воплощающими идеал. Недостигаемым, но зато тынешься и делаешь больше, чем, тебе казалось, ты способен.

— Мои мысли.

— Тем более что этим людям свойственно создавать вокруг себя почти физически сгущенную атмосферу духа, при которой человеку, даже не близкому им, далекому от них, неудобно сказать глупость — лучше промолчать, чем высказаться.

— Замечательно. Правда.

— А я был счастлив, когда эти же мысли нашел в последнем письме Давида Самоулова к Лидии Корнеевны Чуковской. Тут нужно тихо думать. Нужно думать, удивляться и радоваться, потому что это нам знак, нам

неудобно поступить безнравственно — лучше не поступить. Я это физически ощущаю, когда потерял их, — это ощущается при потере, уехал Эрнст Неизвестный, уехал Коржакин, люди, с которыми я все время близко общался. Не говоря уже об Александре Исаяеве. Они — Солженицын, Сахаров, Лидия Корнеевна — вот счастье...

— Твое поколение называют поколением шестидесятников. И еще — детьми XX съезда. А молодые, если не все, то многие, относятся к этим понятиям иронически...

— Думаю, они правы. Если только «дети XX съезда», который, конечно, означал колоссальный прорыв, но и колоссальную самоограниченность, просто ограниченность, примитивность, то, конечно, в этом есть нечто комическое. Дети... съезда. В самом деле смешно. Вот Полосков — действительно, дитя I-го съезда РКП.

— Какие вы были тогда — это одно. Хотя вас укоряют и за бывшее прекрасное, и за то, что жалели себя, ге пошли так далеко, как пошли диссиденты. Но главное, что не разделяют се-

дар. Воплощенный, не «намеченный» (слово Достоевского). Почему мы этого не замечаем? Очень близко стоим. Говорят, где-то на востоке не могли изобрести колеса. Изобрели на западе. Демократия изобретена на западе, но это колесо, оно для всех, без потери своего национального духа. Если уж Япония овладела общемировыми ценностями, то о чем говорить?

— Тебе действительно потрясало, что ты общался с одним и с другим. Впрочем, это другая категория. Не везение — действия, поступки, мысли сводят людей. Андрей Дмитриевич был твоим доверенным лицом на выборах в народные депутаты, а ты — его доверенным лицом...

— Одно это было для меня наградой, о которой я не смел и мечтать и которую мне отслуживать и отслуживать... А впервые вместе мы были на представлении книжки «Иного не дано» в издательстве «Прогресс», сначала выступил он, потом я. Он сказал, что книжка, может, и хорошая, но она уже безнадежно устарела. Я подхватил, ска-

зал, что «жлановская жидкость» — прошлое, надо брать за «лигачевский бетон», имея в виду историю с уничтожением останков политзаключенных ГУЛАГа в Колпашево, под Томском, а тогда только узнал об этом. Потом мы поехали к Андрею Дмитриевичу на дачу, Афanasьев Юрий, Лен Карпинский, Ваткин, поехали основывать «Московскую трибуну». Тогда началась совместная работа.

— О нем можно сказать, что это полное воплощение сложнейшего «жизнь не по лжи». Как ты думаешь, он был такой природно или выделался в такого человека?

— На этом основан весь «железный занавес» — где-то там... Юра, ты открыл вообще закон неведенья. Если люди чего-то не знают — это враждебно и потому может быть уничтожено.

— Неизлечимо враждебно — да. Выглянут 200 человек, цвет русской мысли, носители мировой культуры, — «корабль философов». Я делал надежду, что Ленин не знал, воспользовались его болезнью. Так нет же, выясняется, знал. Ничего себе «научный социализм»! Вообразил, Эйнштейн приходит к власти и говорит: кто там меня не понимает? Бор? Сосать его к такой-то матери. Я не понимаю Бора? Бора и сосать!.. Была проблема: мировая культура с точки зрения марксизма-ленинизма. А стала: марксизм-ленинизм с точки зрения мировой культуры. Вообще что такое марксизм-ленинизм? Нельзя же физику называть ньютоном или эйнштейном, а физика — чепуха по сравнению с наукой об обществе. Назвать все по имени одного-двух-трех людей, по-человечески неизбежно ограничить? Перескочить через формуцию — научный социализм? Произошла чудовищная вещь — прости меня, пожалуйста: овладеть девочкой в десять лет, заставить ее рожать через пять месяцев — при чем тут наука? Не по науке известно, что женщина рождает на 272-й день, а девочка не может!..

— Готовилась. Итак, Россия в мировом квалификационном листе. Что мы имеем через 70 лет? России на 50-х местах по всем показателям: медицине, культуре, экономике. То есть невероятную отсталость. Причем эта отсталость — не победа, а отсталость, вдумайся! — куплена уничтожением такой культуры — представь, если бы ни Кельнского, ни Миланского, ни собора Парижской богематери!.. Ценой неслыханных страданий! Ценой убитых нами же. Не меньше 40 миллионов. Сами. Своих. Большие, чем больше, фашисты, вместе ваятые. Мы убили гениальную свою интеллигенцию, убили гениальное свое крестьянство — это был такой отборный слой, тысячу лет рожали и родили. Уничтожен был коренник: коренной крестьянин, коренной рабочий, коренной

интеллигент, человек к человеку, мастер! И я нигде не могу деться от вопроса: стоит ли? Пошли бы вы на Октябрьскую революцию, зная результат? При такой-то пели, Такой результат. За такую отсталость. Такая плата. Возьмите Достоевского, Толстого, Пушкина, Чехова, поместите их в 17—63 годы — они благословили бы нас? Мало этого — что было бы с ними? Сейчас на меня закрывают: не предадим идеалы Октября! А речь идет не о предательстве, не об измене, а о том, что нет никакого научного социализма. Просто к новой форме утопического социализма прибавили слово «научный». Какой же это научный, если исходил из того, что деньги не нужны и да здравствует немедленная отмена денег и обобществление — даже ненаучные слепцы французской революции до этого не додумались, а шли от жизни! Гений у нас много, но для меня есть один человек — как воплощение нормы, воплощение добра, осуществленной духовности — Короленко. У Достоевского о Гарибальди: да, хороший человек, но мыслить не оред. Короленко — и мыслить оред. Поразительно, как он все видел, и назад, и вперед. И вдруг, когда Горький за него заступается, Ленин отвечает: вы пишете, что это мозг нации, соли — а он — говно нации! Ну вот тут уж я никому и ни за что не уступлю, хоть ста Лениным и Марксам, вместе ваятим. Или — обратиться к нации и сказать: мы перевели непонятную латинскую фразу об экспроприации экспроприаторов как «грабь награбленное». Настолько не понимаем, как это будет «переводиться», как будет снижена даже самая высокая идея: у Достоевского это выражение «потачили идею на улицу»... Я добросовестно подсчитал, по наименованию, что знали из мировой культуры Маркс и Энгельс, а что Ленин. Раз в 50 меньше. А если что-то не знаешь, это для тебя не существует, тебе этого не жалко, это не входит в твой духовный статус, не живое для тебя.

— На этом основан весь «железный занавес» — где-то там... Юра, ты открыл вообще закон неведенья. Если люди чего-то не знают — это враждебно и потому может быть уничтожено.

— Неизлечимо враждебно — да. Выглянут 200 человек, цвет русской мысли, носители мировой культуры, — «корабль философов». Я делал надежду, что Ленин не знал, воспользовались его болезнью. Так нет же, выясняется, знал. Ничего себе «научный социализм»! Вообразил, Эйнштейн приходит к власти и говорит: кто там меня не понимает? Бор? Сосать его к такой-то матери. Я не понимаю Бора? Бора и сосать!.. Была проблема: мировая культура с точки зрения марксизма-ленинизма. А стала: марксизм-ленинизм с точки зрения мировой культуры. Вообще что такое марксизм-ленинизм? Нельзя же физику называть ньютоном или эйнштейном, а физика — чепуха по сравнению с наукой об обществе. Назвать все по имени одного-двух-трех людей, по-человечески неизбежно ограничить? Перескочить через формуцию — научный социализм? Произошла чудовищная вещь — прости меня, пожалуйста: овладеть девочкой в десять лет, заставить ее рожать через пять месяцев — при чем тут наука? Не по науке известно, что женщина рождает на 272-й день, а девочка не может!..

— Готовилась. Итак, Россия в мировом квалификационном листе. Что мы имеем через 70 лет? России на 50-х местах по всем показателям: медицине, культуре, экономике. То есть невероятную отсталость. Причем эта отсталость — не победа, а отсталость, вдумайся! — куплена уничтожением такой культуры — представь, если бы ни Кельнского, ни Миланского, ни собора Парижской богематери!.. Ценой неслыханных страданий! Ценой убитых нами же. Не меньше 40 миллионов. Сами. Своих. Большие, чем больше, фашисты, вместе ваятые. Мы убили гениальную свою интеллигенцию, убили гениальное свое крестьянство — это был такой отборный слой, тысячу лет рожали и родили. Уничтожен был коренник: коренной крестьянин, коренной рабочий, коренной

интеллигент, человек к человеку, мастер! И я нигде не могу деться от вопроса: стоит ли? Пошли бы вы на Октябрьскую революцию, зная результат? При такой-то пели, Такой результат. За такую отсталость. Такая плата. Возьмите Достоевского, Толстого, Пушкина, Чехова, поместите их в 17—63 годы — они благословили бы нас? Мало этого — что было бы с ними? Сейчас на меня закрывают: не предадим идеалы Октября! А речь идет не о предательстве, не об измене, а о том, что нет никакого научного социализма. Просто к новой форме утопического социализма прибавили слово «научный». Какой же это научный, если исходил из того, что деньги не нужны и да здравствует немедленная отмена денег и обобществление — даже ненаучные слепцы французской революции до этого не додумались, а шли от жизни! Гений у нас много, но для меня есть один человек — как воплощение нормы, воплощение добра, осуществленной духовности — Короленко. У Достоевского о Гарибальди: да, хороший человек, но мыслить не оред. Короленко — и мыслить оред. Поразительно, как он все видел, и назад, и вперед. И вдруг, когда Горький за него заступается, Ленин отвечает: вы пишете, что это мозг нации, соли — а он — говно нации! Ну вот тут уж я никому и ни за что не уступлю, хоть ста Лениным и Марксам, вместе ваятим. Или — обратиться к нации и сказать: мы перевели непонятную латинскую фразу об экспроприации экспроприаторов как «грабь награбленное». Настолько не понимаем, как это будет «переводиться», как будет снижена даже самая высокая идея: у Достоевского это выражение «потачили идею на улицу»... Я добросовестно подсчитал, по наименованию, что знали из мировой культуры Маркс и Энгельс, а что Ленин. Раз в 50 меньше. А если что-то не знаешь, это для тебя не существует, тебе этого не жалко, это не входит в твой духовный статус, не живое для тебя.

— На этом основан весь «железный занавес» — где-то там... Юра, ты открыл вообще закон неведенья. Если люди чего-то не знают — это враждебно и потому может быть уничтожено.

— Неизлечимо враждебно — да. Выглянут 200 человек, цвет русской мысли, носители мировой культуры, — «корабль философов». Я делал надежду, что Ленин не знал, воспользовались его болезнью. Так нет же, выясняется, знал. Ничего себе «научный социализм»! Вообразил, Эйнштейн приходит к власти и говорит: кто там меня не понимает? Бор? Сосать его к такой-то матери. Я не понимаю Бора? Бора и сосать!.. Была проблема: мировая культура с точки зрения марксизма-ленинизма. А стала: марксизм-ленинизм с точки зрения мировой культуры. Вообще что такое марксизм-ленинизм? Нельзя же физику называть ньютоном или эйнштейном, а физика — чепуха по сравнению с наукой об обществе. Назвать все по имени одного-двух-трех людей, по-человечески неизбежно ограничить? Перескочить через формуцию — научный социализм? Произошла чудовищная вещь — прости меня, пожалуйста: овладеть девочкой в десять лет, заставить ее рожать через пять месяцев — при чем тут наука? Не по науке известно, что женщина рождает на 272-й день, а девочка не может!..

— Готовилась. Итак, Россия в мировом квалификационном листе. Что мы имеем через 70 лет? России на 50-х местах по всем показателям: медицине, культуре, экономике. То есть невероятную отсталость. Причем эта отсталость — не победа, а отсталость, вдумайся! — куплена уничтожением такой культуры — представь, если бы ни Кельнского, ни Миланского, ни собора Парижской богематери!.. Ценой неслыханных страданий! Ценой убитых нами же. Не меньше 40 миллионов. Сами. Своих. Большие, чем больше, фашисты, вместе ваятые. Мы убили гениальную свою интеллигенцию, убили гениальное свое крестьянство — это был такой отборный слой, тысячу лет рожали и родили. Уничтожен был коренник: коренной крестьянин, коренной рабочий, коренной

интеллигент, человек к человеку, мастер! И я нигде не могу деться от вопроса: стоит ли? Пошли бы вы на Октябрьскую революцию, зная результат? При такой-то пели, Такой результат. За такую отсталость. Такая плата. Возьмите Достоевского, Толстого, Пушкина, Чехова, поместите их в 17—63 годы — они благословили бы нас? Мало этого — что было бы с ними? Сейчас на меня закрывают: не предадим идеалы Октября! А речь идет не о предательстве, не об измене, а о том, что нет никакого научного социализма. Просто к новой форме утопического социализма прибавили слово «научный». Какой же это научный, если исходил из того, что деньги не нужны и да здравствует немедленная отмена денег и обобществление — даже ненаучные слепцы французской революции до этого не додумались, а шли от жизни! Гений у нас много, но для меня есть один человек — как воплощение нормы, воплощение добра, осуществленной духовности — Короленко. У Достоевского о Гарибальди: да, хороший человек, но мыслить не оред. Короленко — и мыслить оред. Поразительно, как он все видел, и назад, и вперед. И вдруг, когда Горький за него заступается, Ленин отвечает: вы пишете, что это мозг нации, соли — а он — говно нации! Ну вот тут уж я никому и ни за что не уступлю, хоть ста Лениным и Марксам, вместе ваятим. Или — обратиться к нации и сказать: мы перевели непонятную латинскую фразу об экспроприации экспроприаторов как «грабь награбленное». Настолько не понимаем, как это будет «переводиться», как будет снижена даже самая высокая идея: у Достоевского это выражение «потачили идею на улицу»... Я добросовестно подсчитал, по наименованию, что знали из мировой культуры Маркс и Энгельс, а что Ленин. Раз в 50 меньше. А если что-то не знаешь, это для тебя не существует, тебе этого не жалко, это не входит в твой духовный статус, не живое для тебя.

— На этом основан весь «железный занавес» — где-то там... Юра, ты открыл вообще закон неведенья. Если люди чего-то не знают — это враждебно и потому может быть уничтожено.

— Неизлечимо враждебно — да. Выглянут 200 человек, цвет русской мысли, носители мировой культуры, — «корабль философов». Я делал надежду, что Ленин не знал, воспользовались его болезнью. Так нет же, выясняется, знал. Ничего себе «научный социализм»! Вообразил, Эйнштейн приходит к власти и говорит: кто там меня не понимает? Бор? Сосать его к такой-то матери. Я не понимаю Бора? Бора и сосать!.. Была проблема: мировая культура с точки зрения марксизма-ленинизма. А стала: марксизм-ленинизм с точки зрения мировой культуры. Вообще что такое марксизм-ленинизм? Нельзя же физику называть ньютоном или эйнштейном, а физика — чепуха по сравнению с наукой об обществе. Назвать все по имени одного-двух-трех людей, по-человечески неизбежно ограничить? Перескочить через формуцию — научный социализм? Произошла чудовищная вещь — прости меня, пожалуйста: овладеть девочкой в десять лет, заставить ее рожать через пять месяцев — при чем тут наука? Не по науке известно, что женщина рождает на 272-й день, а девочка не может!..

— Готовилась. Итак, Россия в мировом квалификационном листе. Что мы имеем через 70 лет? России на 50-х местах по всем показателям: медицине, культуре, экономике. То есть невероятную отсталость. Причем эта отсталость — не победа, а отсталость, вдумайся! — куплена уничтожением такой культуры — представь, если бы ни Кельнского, ни Миланского, ни собора Парижской богематери!.. Ценой неслыханных страданий! Ценой убитых нами же. Не меньше 40 миллионов. Сами. Своих. Большие, чем больше, фашисты, вместе ваятые. Мы убили гениальную свою интеллигенцию, убили гениальное свое крестьянство — это был такой отборный слой, тысячу лет рожали и родили. Уничтожен был коренник: коренной крестьянин, коренной рабочий, коренной

интеллигент, человек к человеку, мастер! И я нигде не могу деться от вопроса: стоит ли? Пошли бы вы на Октябрьскую революцию, зная результат? При такой-то пели, Такой результат. За такую отсталость. Такая плата. Возьмите Достоевского, Толстого, Пушкина, Чехова, поместите их в 17—63 годы — они благословили бы нас? Мало этого — что было бы с ними? Сейчас на меня закрывают: не предадим идеалы Октября! А речь идет не о предательстве, не об измене, а о том, что нет никакого научного социализма. Просто к новой форме утопического социализма прибавили слово «научный». Какой же это научный, если исходил из того, что деньги не нужны и да здравствует немедленная отмена денег и обобществление — даже ненаучные слепцы французской революции до этого не додумались, а шли от жизни! Гений у нас много, но для меня есть один человек — как воплощение нормы, воплощение добра, осуществленной духовности — Короленко. У Достоевского о Гарибальди: да, хороший человек, но мыслить не оред. Короленко — и мыслить оред. Поразительно, как он все видел, и назад, и вперед. И вдруг, когда Горький за него заступается, Ленин отвечает: вы пишете, что это мозг нации, соли — а он — говно нации! Ну вот тут уж я никому и ни за что не уступлю, хоть ста Лениным и Марксам, вместе ваятим. Или — обратиться к нации и сказать: мы перевели непонятную латинскую фразу об экспроприации экспроприаторов как «грабь награбленное». Настолько не понимаем, как это будет «переводиться», как будет снижена даже самая высокая идея: у Достоевского это выражение «потачили идею на улицу»... Я добросовестно подсчитал, по наименованию, что знали из мировой культуры Маркс и Энгельс, а что Ленин. Раз в 50 меньше. А если что-то не знаешь, это для тебя не существует, тебе этого не жалко, это не входит в твой духовный статус, не живое для тебя.

— На этом основан весь «железный занавес» — где-то там... Юра, ты открыл вообще закон неведенья. Если люди чего-то не знают — это враждебно и потому может быть уничтожено.

— Неизлечимо враждебно — да. Выглянут 200 человек, цвет русской мысли, носители мировой культуры, — «корабль философов». Я делал надежду, что Ленин не знал, воспользовались его болезнью. Так нет же, выясняется, знал. Ничего себе «научный социализм»! Вообразил, Эйнштейн приходит к власти и говорит: кто там меня не понимает? Бор? Сосать его к такой-то матери. Я не понимаю Бора? Бора и сосать!.. Была проблема: мировая культура с точки зрения марксизма-ленинизма. А стала: марксизм-ленинизм с точки зрения мировой культуры. Вообще что такое марксизм-ленинизм? Нельзя же физику называть ньютоном или эйнштейном, а физика — чепуха по сравнению с наукой об обществе. Назвать все по имени одного-двух-трех людей, по-человечески неизбежно ограничить? Перескочить через формуцию — научный социализм? Произошла чудовищная вещь — прости меня, пожалуйста: овладеть девочкой в десять лет, заставить ее рожать через пять месяцев — при чем тут наука